

ЗИНАИДА ГИППИУС

ЭТЮД

Зинаида Николаевна Гиппиус

Этюд

Аннотация

«Он так известен, что я не назову ни города, где он живет, ни его специальности. Выдуманной фамилии тоже не хочется давать. Просто ученый, профессор. Далеко не старый, живой, веселый в обществе, с тихим, нежным голосом...»

Зинаида Гиппиус

Этюд

...Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой – для низкого?

Ал. Павел, Рим. IX, 21

Он так известен, что я не назову ни города, где он живет, ни его специальности. Выдуманной фамилии тоже не хочется давать. Просто ученый, профессор. Далеко не старый, живой, веселый в обществе, с тихим, нежным голосом.

Мы с ним связаны еще университетским товариществом, а потому – длительной, спокойной дружбой, хотя никогда не жили в одном городе. В мою северную столицу он приезжает не часто; но мне в голову бы не пришло проехать мимо того места, где он живет, не завернув к нему; и это случается почти каждый год. Анна Кирилловна, жена его, образованная, энергичная женщина, очень к нему подходит. Она создала образцовое училище, так называемое «коммерческое», для детей обоего пола, очень самостоятельно и хорошо вела его. Летом ездила за границу, изучая постановку школьного дела во Франции и Англии. Анна Кирилловна казалась мне в одно и то же время и настоящим человеком, и настоящей матерью. Это так редко!

Своих детей у них трое – три сына.

Мы с профессором не переписывались. С прошлого Рождества не видались. И вдруг вчера вечером неожиданно встретились здесь, на берегах Невы, в знакомом доме.

К пожилой графине Марье Игнатьевне я часто теперь захожу. Тихо там, полутемно, и кажется, что это паутина печали, нависшая по углам, затеняет свет.

Графиня вяжет что-то длинное, грубое, серое, склонив подбор к лампе, вяжет и бледная Нидочка с испуганными глазами – все на войну. Саша, сын единственный, радость, ушел на войну. Бросил университет – ушел. И все в гостиной графини полно Сашей, войной и печалью.

Гостей не бывает. Разве зайдет посидеть, кроме меня, о. Владимир, седой, добрый священник, что неподалеку живет, крестил Сашу и Нидочку и старого графа хоронил.

В этот вечер он тоже пришел. А другой гость – мой профессор!

Мы от неожиданности как-то особенно обрадовались друг другу. Выяснилось, что профессор приехал «по делу», без конца хлопотал, уезжал, сегодня только опять вернулся, благополучно окончив «дело», а домой – через два дня.

– Завтра бы непременно был у тебя, – сказал, тихо усмехаясь, пощипывая черную бородку. – А раньше никак не мог. Такое уж «дело».

– Да какое же?

Марья Игнатьевна вздохнула, не поднимая головы, и о. Владимир вздохнул, и Нидочка вздохнула. О. Владимир ска-

зал:

– Какие у нас теперь дела? Провожаем близких на великую войну, вот наши дела.

Я вдруг вспомнил. Смутно, однако, слышал, что старший сын профессора, Костя, должен был держать какой-то экзамен на вольноопределяющегося... Были разговоры, но мельком, вскользь, давно, как о неважном. Я мало знал о детях профессора.

– Ах, Костя! Неужели Костю взяли? Ведь действительно ему теперь за двадцать...

– Что ты, милый, – ласково остановил меня профессор. – При чем Костя? Он уж полтора года казачьим офицером, а теперь пять месяцев на передовых позициях. Пока жив, здоров.

– Вот тебе на! Так неужели Волю?.. Да вздор, Воле пятнадцать лет...

– Шестнадцать, – поправил профессор. – Нет, Воля дома, занимается. Ваню я, младшего, устраивал. Ему тринадцать лет, оттого так и трудно было уладить. Уж я ко всякой проекции прибегаю. Пришлось самому в Варшаву везти. Правдами-неправдами приспособил его к знакомому одному офицеру. Удовольствия-то сколько!

Я слушал, онемев. А Марья Игнатьевна стала даже улыбаться. Как будто ей легче было от того, что у профессора такое же горе, да еще тяжелее: два сына на войне, и даже тринадцать лет одному!

– Он – здоровый мальчик, большой, сильный, – продолжал профессор. – Сразу стал рваться. На Костю похож. Тот и до войны только о военной службе и мог думать.

Профессор говорил это со спокойной и тихой ясностью, как что-то совершенно естественное, давно обдуманное и понятное. А я, признаться, не опомнился. Надо было знать профессора и его жену, как я их знал; детей я, правда, не знал, но ведь это были *их* дети! И он сам повез ребенка... Что же Анна Кирилловна?

– Каково матери-то, – произнес о. Владимир, будто угадывая мои мысли. – Дитя молодое...

Профессор улыбнулся.

– Конечно. Но моя жена понимает, что есть непреложные законы жизни, недостаточно исследованные, навсегда, может быть, закрытые, но непобедимые, – законы истории и жизни.

Я заволновался.

– Постой, какие законы! Беззаконие, если хочешь. Чтобы не справиться с ребенком... Сам повез... Не понимаю.

– Да зачем же мне с ним справляться? У него было влекущее желание к определенному делу, так же как у Кости. К другим оба они совершенно неспособны. Дело это сейчас очень нужное. Если Ваня слегка опоздал родиться – не его вина. Зато он очень развит физически, силен и смел.

– Великие, великие дела совершаются! – покачал головой о. Владимир.

– Позволь, – не унялся я. – Что значит «ни к чему другому не способен»? Учился, что ли, плохо? Это – твой сын? А средний, Воля?

– Воля – обыкновенный мальчик, хорошего ума и развития. А Костя и Ваня – подзаконные. Ты не понимаешь? Ну... не знаю, стоит ли об этом... Достаточно сказать, что из троих моих сыновей, в одних условиях и теми же людьми воспитанных, двое оказались к воспитанию невосприимчивыми, а средний шел обыкновенным путем. И Костя, и Ваня одинаково тупели от всякой книги, не интересовались ничем, кроме разве прикладных знаний. Типичные «последние ученики». Было бы глупой жестокостью ломать их. Это – закон природы, путь истории.

– Опять закон? Какие пути истории?

– Пути Господни неисповедимы, – покорно вставил о. Владимир.

А профессор неохотно сказал:

– Да, это – странный закон. Есть такие законы и пути, пожалуй неисповедимые... И, однако, реальность их несомненна.

– Какой же закон, профессор? – бледно улыбнулась Марья Игнатьевна, подняв глаза от вязанья. – Я не совсем вас понимаю. Может быть, это слишком специально, и мы, непосвященные...

– О, вовсе нет! – вдруг оживился профессор. – Напротив, научно это почти еще не обосновано. Вещь очень неслож-

ная: я вам дам ее в самом прямом построении. Странный закон, о котором я говорю, это – закон приспособления человечества к исторической катастрофе, и, главное, соответственного приспособления гораздо *раньше* катастрофы, то есть как бы приготовление к ней, совершенно природное, физическое. Природе известно будущее, неизвестное нам. Позвольте, я поясню: когда наступает война – вот сейчас, например, – то оказывается, что главная масса народа, в возрасте именно 20–25 лет, состоит как раз из индивидуумов, наилучшим образом к этому делу приспособленных, на это дело годных и для него только и нужных. Германия – пример яркий, но спорный. Германию, при желании, можно так обернуть: германцы хотели войны и сами готовили ее в своих детях. Это, конечно, – поверхностный взгляд; я и не беру одну Германию или даже одну эту войну; мы говорим о всем человечестве и обо всей истории. Да, сама история или кто-то, знающий ее будущее и пути народов, заготавливает в них, копит именно те силы, которые окажутся нужны; творит людей *для* будущей катастрофы...

– Постой, постой! – пытался я перебить, но профессор уже не слушал.

– Мои сыновья, Костя и Ваня, это – две капли того людского океана, который нужен был для сегодняшнего наводнения. Ваня опоздал немного родиться, но по качеству, по всему своему составу, он – именно эта океаническая капля; или сольется с другими или даром *высохнет*. Так же и стар-

ший, Костя. Да оглянитесь вокруг себя, только внимательно; мало вы видите таких сейчас капель? Вспомните время пред войной, вспомните бесплодие, томленье, метанье молодых слоев Европы – и России, и России! И это – вне социальных разграничений, спуститесь куда угодно; вам незнакома разве надоевшая фраза: «хулиганство деревенской молодежи»? Искали причин в социальных условиях, а причина была одна, вечная, законная: готовилась великая борьба, но она еще не наступила, определенные силы не находили своего истинного приложения, не вошли в русло... И преобразились, едва вошли. Костя и Ваня – мои дети? Дети истории, дети времен ее прежде всего. Они родились не для меня, не для себя, а для той мировой борьбы, которая должна была неотвратимо наступить. Оба они, и большой Костя, и Ваня, опоздавший родиться, просияли, углубились, изменились, так счастливы были, те же слова повторяли: «Пойдем умирать за родину!». А средний, Воля, тихо смотрит, тихо говорит: «Мне жить придется *после* войны». Он в *свое* время родился, ни слишком рано, ни слишком поздно, родился для себя, для жизни после войны. Так оно есть... Таков странный закон человеческих судеб... И мне с ним бороться?

Он встал, взволнованный. Он не заметил, что Марья Игнатьевна давно опустила вязанье и смотрела на него непонимающими, но праведно-оскорбленными материнскими глазами. Испуганно, растерянно слушал о Владимир.

– Нет... Нет... – заговорила Марья Игнатьевна, приподы-

маясь. – Такого не может быть закона... Для войны?.. Для... Нет, нет...

Она положила вязанье и поспешно, закрыв лицо платком и путаясь в шлейфе черного платья, вышла из комнаты. За ней тотчас выбежала и Нидочка.

Профессор сразу смолк и удивленно посмотрел им вслед, а потом перевел глаза на нас с о. Владимиром.

О. Владимир покачал седой головой.

– Сколь вы неосторожно, – произнес он с сожалением. – Да. Ученых законов не знаю, а вижу, сколь дерзновенно ученые судят.

– Да что же я сказал такого, батюшка? – смешавшись, начал профессор. – Я просто изложил общие, многим известные наблюдения.

– Дерзновенно это, весьма дерзновенные наблюдения. Материнское сердце по живом сыне болит, а вы – для того, мол, он и родился, так тому и быть. Разве мы судим, кто для чего рожден? Это – Божье дело, не наше.

Профессор молчал. И вид у него был, как у ребенка, который виноват, но не знает, в чем виноват. Запахивая полурысы, о. Владимир прибавил:

– Да уж ничего, пойду разговорю ее, графинюшку. Какие законы! Материнскому сердцу одно: пусть жив будет.

– Простите, батюшка, – сказал кротко профессор, – может быть, и не следовало этого говорить здесь. Я не знал. Мы с женой, с Анной Кирилловной, много об этом беседовали. И

она – мать. Законы мировые она видит, только все называет законами Господними, непонятными, иногда страшными для нас, но благими.

О. Владимир пошел успокаивать Марию Игнатьевну, а мы с профессором – домой.

Но не хотелось домой. Долго еще бродили вместе по тихим, оснеженным улицам, и профессор мне рассказывал о странном законе мирового провиденья и приуготовленья. Долго еще говорили мы о тайне времени, о детски жестоком человечестве, обо всем младенческом мире и о непостижимой, суровой, но благой Божьей заботе – о земле.

Когда-нибудь я вернусь к этим разговорам, к профессору, к его детям, к странному, глубокому закону – к войне. Когда-нибудь – не теперь.